

ФРАГМЕНТЫ

(из книги «Почтовая лошадь»)

ШАПОЧНЫЙ РАЗБОР

МАСТЕРА И УЧЕНИКИ

Литераторы старшего поколения, начинавшие до революции или в двадцатые годы, уходили из жизни. Я попал к шапочному разбору.

От Пушкина это поколение отделяло всего несколько десятилетий. Это была тонкая пленка высочайшей культуры. Революция взболтала общество, и на поверхность вышли низы, часто талантливые, но как правило бескультурные. Им предстоял такой долгий путь к вершинам культуры, что на него не хватало жизни.

Уходившие литераторы уносили с собой не только культуру и мастерство, но и нравственные законы. Например, отношение к младшим. Их по-настоящему заботило, кто будет продолжать их дело, и волновало появление каждого нового таланта, большого или малого. Само собой разумелось, что младшие всем существом стремятся оправдать это отношение старших.

Я общался с мастерами, и с меня сходило семь потов стыда, потому что сведений о культуре я почти не имел, а понятия у меня были дикие, — сказала война, блокада и гибель семьи. И я навсегда благодарен старшему поколению за стоическое терпение.

Через много лет, всё с той же неизменной благодарностью сердца перечитываю письма из архивной папки. В этих письмах есть великодушные слова в мой адрес. Если я их привожу, то ради памяти мастеров, их заботы об учениках, их самоотверженной готовности прийти на помощь. Что же касается моих работ, читатель сам вынесет им приговор, и никакое заступничество тут не поможет.

Школу я оканчивал в 1950 году, война только-только отошла в совсем близкое прошлое, и большая часть мужского населения донашивала гимнастерки и кителя. Отец погиб во время блокады, мать работала участковым врачом, а я писал стихи и был предоставлен самому себе. Беда была в том, что наша семья никогда не соприкасалась с людьми литературы и искусства. Множество вопросов, а спросить некого.

Но произошло, одно за другим, три чуда. Первое — то, что мой одноклассник и лучший друг Илья оказался сыном художницы Александры Николаевны Якобсон, и я впервые увидел настоящего мастера с настоящим отношением к искусству. Александра Николаевна и ее муж, художник Миней Ильич Кукс, сразу отнесли ко мне, как к еще одному сыну. Не знаю, что они видели в моих юношеских стихах и переводах, но что я пылал страстью к искусству, как пышет жаром больной с температурой за сорок, — это было для всех очевидно.

За этим чудом последовало другое: через некоторое время Александра Николаевна подарила мне книгу. На чистом начальном листе она нарисовала два окошечка с занавесками и написала: «Юному соседу по Парнасу». То есть признала за своего, пусть начинающего, но настоящего. Это было так важно для меня! А третьим чудом оказалась, собственно, сама книга, сборник переводов Самуила Яковлевича Маршака «Вересковый мед», да еще и с рисунками Лебедева. Я стал читать, в сердце мне ударило эхо иноязычной, но таинственно родной поэзии, и на десятой странице я уже твердо знал, что переводить стихи я буду всю жизнь. А вот чего я не мог знать — что всю жизнь буду любить переводы Маршака и всю жизнь с ним творчески спорить.

Александра Николаевна познакомила меня с домом Виталия Валентиновича Бианки и еще с одной семьей художников – Василием Адриановичем Власовым и Татьяной Владимировной Шишмаревой. С их сыном Борисом я подружился. А отец Татьяны Владимировны, академик Владимир Федорович Шишмарев, позвонил Михаилу Леонидовичу Лозинскому, который в то время уже очень болел и никого не принимал. По рекомендации Шишмарева я оказался в доме Лозинских. Стал учеником Михаила Леонидовича, а после его смерти разобрал и описал его архив. Наметился еще один путь, от Виталия Валентиновича Бианки к Евгению Львовичу Шварцу.

От одного мастера к другому – таким был счастливый путь моей студенческой юности. Счастливым, хотя время было смутное, наверху шла борьба за власть, исход и последствия которой трудно было предвидеть. Пламя Гулага еще догорало, оно вполне могло разгореться снова, и мастера передавали друг другу нового ученика, как младенца на пожаре.

БИАНКИ

Радужный гостеприимный дом маститого писателя, в котором каждую субботу собиралось дружеское сообщество биологов, охотников, молодых и немолодых литераторов – каким счастьем для меня, в то время студента, была возможность приходить в этот дом, встречать доброжелательный взгляд Виталия Валентиновича, слушать литературные разговоры, иногда читать свои переводы классических английских поэтов. С этими переводами я, разумеется, выглядел в доме Бианки белой вороной, но это несколько не мешало общению, а хозяину, вероятно, доставляло истинное развлечение. Именно здесь подошел однажды ко мне ботаник и поэт Кронид Всеволодович Гарновский и спросил:

– Отчего бы вам не перевести баллады о Робин Гуде? По-моему, они вам очень подойдут.

И я начал переводить, и с головой ушел в перевод. В то время моей главной проблемой было – усидеть за столом: все время хотелось прыгать в высоту и бежать стометровку. И к этому состоянию как нельзя лучше подошли робингудовские баллады с их упругим непоседливым существом.

Была в доме и своя загадка. Имя Виталия Бианки широко известно, его книги издаются громадными тиражами по всему миру, но кто он? Да, у него, как у каждого настоящего писателя, есть свой мир, но это мир зверей и птиц. Где большой психологический роман, с любовью на фоне эпохи? Где повести и рассказы, в которых главные герои – люди, а не представители мира животных? И от кого из великих классиков он ведет свою литературную родословную?

Разгадка пришла ко мне уже после того, как не стало Виталия Валентиновича. Крылов! Иван Андреевич Крылов. Этот путь в литературе – особый, редкостный и славный путь. И не нужен Виталию Бианки традиционный роман: характеры его лесных персонажей говорят сами за себя, незаметно учат читателя глубже всматриваться не только в природу, но и в свою совесть, ибо по тому, как относится человек к природе, можно судить о самом человеке.

В одну из литературных суббот я прочел перевод стихотворения Киплинга «Перемирие с медведем» («The Truce with the Bear»). По-русски это название звучало слишком прозаично, и я назвал перевод именем медведя: «Адам-За», – я был еще настолько молод, что мог позволить себе подобную вольность. Сам же перевод был сделан с увлечением, но увы, опять-таки по молодости лет – не в размере подлинника. Вместо шестистопного акцентного трехсложника – правильный восьмистопный хорей с цезурой после четвертой стопы. Вот это стихотворение:

Редьярд Киплинг

АДАМ-ЗА

Взяв палатки и двухстволки, наши люди каждый год
По ущелью Матинеи отправляются в поход.
Каждый год бредет в колонне, то в начале, то в конце,
Мэттен – старый грязный нищий с перевязкой на лице.

Он плетется вслед за нами – без зубов, без губ, без глаз.
Он бормочет, заикаясь, надоевший свой рассказ.
Он трясется, старый Мэттен, заикаясь, он твердит:
«Не щади, сагиб, медведя – он тебя не пощадит.

Был остер кремень в мушкете, порох сух и смазан ствол,
И на Адам-За, медведя, я охотиться ушел.
Я в последний раз увидел, как снега в горах лежат,
Собираясь на медведя пять десятков лет назад.

Из насиженной берлоги сквозь колючие кусты
Адам-За бежать пустился на открытые хребты.
Он помчался с полным брюхом, испуская стон и рык.
Два хороших перехода – и медведя я настиг.

Два хороших перехода – и к концу второго дня
Он тащился, задыхаясь, в полумиле от меня.
Палец мой лежал на спуске, я не знал, что значит страх,
И тогда медведь поднялся и пошел на двух ногах.

Человеческой походкой, на меня смотря с мольбой,
Шел, подняв, как на молитве, обе лапы над собой.
Я глядел, как ходит брюхо, презирал я и жалел
Умоляющего зверя, что попался на прицел.

Я жалел и удивлялся, и не выстрелил тогда.
С той минуты потянулись бесконечные года.
Сталь когтей была всё ближе и клыков стальной оскал.
От бровей до подбородка он лицо мое содрал.

Я почувствовал, как кости на лице моем горят,
И к ногам его свалился – пять десятков лет назад.
Он возился и хихикал, а потом убрался прочь.
Мне осталась ваша жалость, надо мной повисла ночь.

Я слышал, что новым ружьям не нужны кремень и трут.
Их быстрее заряжают, и они вернее бьют.
Но подайте мне монету – я открою вам глаза,
О беспечные сагибы, на коварство Адам-За.»

Там, под тряпкой, рдело мясо, темным пламенем горя.
Этот старый нищий Мэттен с нас монеты брал не зря.
«Поднимите зверя шумом в жаркий полдень из кустов,
Пусть сагибов не смущает этот подлый стон и рев.

Но, сагиб, настанет время, ты прицелишься – и вот
Человеческой походкой на тебя медведь пойдет.
Человеческой походкой на тебя пойдет медведь,
И его свиные глазки будут жалобно глядеть,

И его стальные лапы будут подняты с мольбой.
Знай, сагиб, что это значит: это смерть перед тобой».

На привале, темной ночью, без зубов, без губ, без глаз
Старый, грязный нищий Мэттен повторяет свой рассказ.
Он ощупывает ружья, греет руки у костра.
Завтра мы идем в долину, завтра – славная игра.

Он трясется, старый Мэттен, заикаясь, он твердит:
«Не щади, сагиб, медведя – он тебя не пощадит».

То ли описание встречи с медведем пробуждало в хозяине совершенно реальные воспоминания, то ли перевод и в самом деле в какой-то степени передал поэзию Киплинга, но Виталию Валентиновичу стихотворение понравилось. С тех пор каждую субботу в середине вечера хозяин дома поворачивался ко мне и доброжелательно говорил:

– Ну, а теперь попросим прочесть «Адам-За».

Первые две-три субботы гости слушали стихотворение вполне серьезно. Потом я увидел, что с началом чтения слушатели прячут глаза и сдерживают смех. Но хозяин был неумолим. На субботах появлялись новые люди, и Виталий Валентинович хотел, чтобы они непременно услышали стихотворение Киплинга. Приходилось снова и снова читать злополучный перевод, хотя само его название уже вызывало сдержанный смех постоянных гостей.

Елена Израилевна Рывина даже сочинила экспромт, пародируя мой перевод баллады «Робин Гуд и епископ»:

Я по субботам прихожу
Обычно в этот дом,
Где «Адам-За» в трехсотый раз
Я слушаю с трудом.

– О пощади, о пощади,
Прекрасный наш поэт!
Все время слушать то ж да тот ж,
Ей-богу, силы нет.

– Не пощажу, не пощажу, –
Сказал он наотрез
И двести двадцать восемь строк
Прочел в один присест.

А еще через несколько суббот она прочла двестише в размере «Адам-За»:

Я сижу, трясясь и плача, я теряю аппетит.
Не щади, сагиб, поэта – он тебя не пощадит.

ДРАГУНСКИЙ

Популярность «Денискиных рассказов» Виктора Юзефовича Драгунского была неопишуемой. Можно сказать, что их читала и хохотала над ними вся Россия разом. Я сам видел, как деревенский мальчик, читая рассказ, от смеха упал вместе с табуреткой. Новорожденных повально называли Денисами. Читательские письма приходили мешками.

Было среди них и мое письмо. Я послал Драгунскому рассказ «Катя» и приглашение от редакции районной газеты, где я тогда работал, приехать погостить на Север. В ответном письме Виктор Юзефович писал:

«... Теперь о главном. Кто написал рассказ “Катя”? Дайте его фамилию – автора то есть. Постараюсь напечатать. Мне понравился рассказ – в нем свежесть и льдинка. Незнакомый язык – поэтому юмор до меня очень доходит. Хорошо, что коротко – лаконично, – все это меня прельстило, выношу похвалу и благодарность от имени русской литературы, хотя и вижу, что Чехов, Бунин и Платонов влияли на создателя вещи, – но это ничего, компания подходящая. 3-х летняя девчушка говорит:

– Страмовка, чудо погано! Убью тебя!

Это серьезно и весело. Добро и правда. И верно, что она задничкой бьет в дверь, пока отойдет. Кстати, я бы так и написал.

Портрет учительницы – традиционен и сладковат. Я бы посолил – может быть и старая с грубыми жухлыми руками.

Класс “победоносно запеваёт”. Тут слово “победоносно” – сомнительно, хотя то, что хотелось передать, – доходит, впечатление радостной горластости достигается».

С рассказом «Катя» Драгунский обошел многие московские редакции. Но мужики в рассказе пьют, а как раз в это время шла очередная кампания борьбы с пьянством. Редакции рассказ отвергли.

ЗАБОЛОЦКИЙ

Шварцы и Заболоцкие тесно дружили семьями. Однажды Евгений Львович при мне говорил с Николаем Алексеевичем по телефону, и у меня было странное ощущение нереальности происходящего: оба Заболоцких, автор «Столбцов» и автор поздних стихотворений, существовали для меня в вечности, а не в нынешнем дне.

Летние месяцы я иногда проводил в деревне недалеко от Смоленска. И однажды написал письмо Николаю Алексеевичу, пригласил его приехать на лето. Мне очень хотелось познакомить Заболоцкого с местными жителями, например, с Василием Яковлевичем Сухоруковым, помимо сильного и оригинального ума обладавшего не менее сильными сверхъестественными способностями. Помню, как привезли на телеге страшно раздувшуюся корову – ее укусила в вымя гадюка, как Василий Яковлевич парился в бане, готовясь к врачеванию, как вылечил животное травами и заговорами, и как через три дня корова мирно ушла домой, привязанная к той же телеге.

Мы уже готовили для Заболоцких пустовавший дом, мыли полы, обтирали стены, проветривали. Но пришло письмо, которое доставило мне и огорчение, и радость.

«Обстоятельства и намерения мои в отношении лета несколько изменились. Лето я проведу на Оке в г. Тарусе Калужской обл. Это в 130 км от Москвы, там живут мои друзья, счастливые обладатели машины; они шефствуют над моей скромной особой, которая по нездоровью действительно нуждается в некоторых удобствах. Таким образом отпадает план провести лето с Вами, в относительном далеке от Москвы. Сердечно благодарю Вас за внимание и простите, что не смог воспользоваться Вашим предложением.

Ваш перевод поэмы Лонгфелло я прочитал с удовольствием и пользой для себя. Он выгодно отличается от многих иных переводов этой книги, т.к. сделан с любовью, мастерством и талантом. Желаю Вам новых успехов и рассчитываю на то, что в дальнейшем мы с Вами познакомимся поближе.

Ваш Н. Заболоцкий»

КАВЕРИН

Автор столь любимого мною в отрочестве романа «Два капитана» почти безвыездно жил в Москве, и я послал ему письмо о Севере, о том, что меня окружало. Завязалась переписка. Привожу выдержки из нескольких писем.

«Вы меня очень обрадовали новым письмом. Я его прочитал своим семейным вслух. Во-первых, оно написано отлично, таким спокойным, ясным, русским языком, что и слух, и глаз невольно отдыхают. Во-вторых: я знал, конечно, что несмотря на все многолетние бедствия, исконная интеллигенция все-таки сохранилась. Но что исконная русская деревня еще жива – это для меня новость.

Нет, Вы должны об этом написать. И в письме видны, как живые, люди. Что же будет, когда возьметесь Вы за рассказы о таких Агафоновых? Если Вы так богаты наблюдениями – конечно, я от Агафоновых не откажусь, хоть они – да и все Холмогоры – бесконечно далеки от моего будущего романа.

Конечно, у меня есть проза Евгения Львовича. Знаете ли Вы, что его друзья собрали и вскоре выпустят сборник воспоминаний о нем. Там будет и моя небольшая статья.

По-прежнему: меня интересует все. Рад буду прочитать Ваши новые рассказы. Пишите».

«Спасибо Вам за новые интересные письма. Первый том¹ посылаю одновременно с этим письмом.

¹ Первый том собрания сочинений Каверина. И. И.

Вы спрашиваете меня, что Вам писать²? Но Вы уже пишете то, что Вам надо писать. Соедините случаи, характеры, природу, поверья – вот Вам и книга. Вопрос только в композиции и еще в том, что всего этого должно быть много. Так писал прекрасный, мой любимый С.В.Максимов. Композиция у него, как Вы знаете, разная. Одна, так сказать, горизонтальная: «Год на Севере», другая – вертикальная: «Бродячая Русь Христа ради». У Вас в руках «инвентарь», который непременно станет картиной. Я вижу ее уже в Ваших письмах.

Что касается Ваших переводов – они хороши, и не стоит, мне кажется, оставлять это прелестное занятие. Но, мне кажется, Вы сильнее как потенциальный прозаик».

«Сердечно поздравляю Вас с рождением сына. Это – прекрасно. Со своей стороны, Вы можете поздравить меня с рождением внучки (четвертой). Это тоже очень хорошо, тем более, что у нее – тыняновский лоб.

Меня очень порадовало оглавление Вашей книги. Я совершенно уверен, что это будет удача, в особенности, если Вам удастся добиться свободы, т.е. забыть, что литература – это дело, требующее какого-то особенного, благоговейно-торжественного отношения. С литературой надо обращаться, как с женой, т.е. любовно, просто и смело. С чувством, что ей все равно некуда деваться и никуда она от Вас не убежит. Тогда-то и получаются хорошие дети».

«Жизнь идет, за годы, что мы не виделись, произошло немало событий, о которых стоило бы рассказать при встрече. Рад, что у Вас все в жизни складывается так хорошо. Любовь к литературе и оптимизм так же помогают Вам, как всю жизнь помогали мне».

ШВАРЦ И ПАНТЕЛЕЕВ

Не больше десяти раз я был у Евгения Львовича Шварца на Посадской, раза три – на даче в Комарове. С первой минуты пораженный и плененный Шварцем, я приходил к нему, зная о нем мало. Разве я мог знать тогда, что передо мной автор «Дракона»? Школьник выпуска 1950 года – это в некотором роде историческое явление по отсутствию информации.

Знакомый композитор предложил написать либретто оперы по пьесе Шварца «Тень». Окончив первый акт, я отнес его Шварцу.

Сквозь робость и смущение вижу большого, рыхловатого и какого-то породистого человека. Стоя с рукописью в руке посреди комнаты, он с воодушевлением читает вслух то единственное место, которого в его пьесе не было, – арию Ученого о человеческих руках:

Глядишь, рука, дрожащая от горя,
А в ней счастливица легкая рука.

Потом с серьезным, почти деловым видом говорит:

– Шекспир... Вот возьму и вставлю в новое издание. И не докажете, что это вы сочинили. Кто вы такой? Никто. А я – известный писатель Евгений Шварц.

Это сказано так прелестно, с такой тонкой игрой, что мне сразу становится легко и свободно. И уже не мешают собственные руки и ноги.

В магазине я увидел пишущую машинку. Стоила она тысячу семьсот рублей. Денег у меня не было, а продавщица, как водится, дала сорок минут срока.

Я вбежал во двор дома Шварца вслед за чьей-то «победой». Как тут же выяснилось, в «победе» приехал он сам. Машина плавно развернулась, и Шварц в дохе и круглой меховой шапке тяжело вылез наружу. Меня он не заметил. Я зашел сбоку и сказал скороговоркой, понизив голос:

– Евгений Львович – остается двадцать минут – пишущая машинка – тысяча семьсот!

² Задавая этот вопрос, я имел в виду – о чём писать в письмах Каверину, что именно его интересует в жизни провинции, но Вениамин Александрович понял вопрос шире. И.И.

Конечно, Шварц оценил мизансцену. Картинный разворот машины, богатая шуба – всё это был чистый театр, внезапное богатство в последнем акте, ибо Евгений Львович всю жизнь боролся если не с нуждой, то с бедностью. Деньги появились поздно. Машина и доха были куплены лишь по настоянию Катерины Ивановны.

Оценил он и мою скороговорку. Дерзость тоже была вполне театральной и требовала такого же ответа.

Шварц не обернулся. Вынул из кармана пачку денег – ехал он из банка, где в то время получали какие-то виды гонораров – неторопливо отсчитал сколько следовало и отдал через плечо. А затем, так и не обернувшись, внушительно проследовал в подъезд.

Через полчаса пирующая машинка стояла на его рабочем столе, для обозрения. Евгений Львович сказал Катерине Ивановне:

– Как приятно, что куплена нужная вещь. Для работы.

Потом повернулся ко мне:

– А ведь я был уверен, что вы берете на пропой.

На Посадской за чаем весьма самоуверенная кинорежиссерша рассказывала о всякой всячине. В том числе о необыкновенно тяжелом фурункулезе, постигшем ее перед войной.

Шварцу в тот вечер нездоровилось. К тому же Катерина Ивановна наливала гостям вино, а ему – безалкогольную вишневую плазму. Разговор о фурункулезе ему совсем уже не понравился. И когда гостя сообщила, что ее, по счастью, вылечил знаменитый Бадмаев и взял всего сто пятьдесят рублей, Евгений Львович участливо заметил:

– В самом деле, дешево. Это выходит – по рублю за фурункул.

И гостя надолго умолкла.

Я ловил и рассказы окружающих о Шварце. Любые подробности.

Художник Миней Ильич Кукс зашел однажды к Евгению Львовичу на комаровскую дачу. Вместе они отправились через дорогу в магазин: врачи прописали Шварцу лекарство, которое полагалось принимать на водке. Маленьких бутылок в магазине не оказалось, купили поллитровую. Евгений Львович истово проделал лекарственную процедуру, на что водки ушло десять капель. Потом поднял бутылку, посмотрел на свет и предложил:

– Допьем остаток?

За разговором они остаток и допили – благо Катерина Ивановна уехала в город – и тут же уснули глубоким сном до самого вечера.

В послевоенные годы Евгения Львовича, случалось, приглашали на беседы в Большой дом (так в разговорах называли ленинградское управление КГБ). Приглашали и Миней Ильича. После одной такой беседы они встретились у выхода, и Евгений Львович сказал задумчиво:

– Не понимаю, что им от нас нужно? Всё, как будто, в порядке. Две хорошие русские фамилии: Кукс и Шварц.

Однажды в присутствии Шварца кто-то не слишком уважительно отозвался о Чехове.

Шварц переменялся мгновенно. Лицо побледнело, речь стала особенно отчетливой. Глядя на невежду в упор, он проговорил, словно диктуя:

– Вы не умеете читать. Вам н е н а д о читать.

Воспоминания о Евгении Львовиче я отослал Алексею Ивановичу Пантелееву. Он – лучший друг Шварца, ему и судить. Вскоре пришло письмо:

«Я прочел Ваши короткие воспоминания и не узнал в них Евгения Львовича Шварца. Кроме точно запомнившейся реплики в защиту Чехова – всё неправда. У Шварца никогда не было дохи. Он не имел банковского счета. Даже играючи, в шутку, он не мог бы выговорить: “Я – известный писатель”.

В ответном письме я поблагодарил Алексея Ивановича за прямоту. Но вступил с ним в спор:

«Всё было именно так. Евгений Львович меня поразил, это обострило восприятие, и всё существенное запомнилось точно.

Вы совершенно правы относительно дохи. Эта моя товароведческая оплошность произошла оттого, что Катерина Ивановна называла шубу Евгения Львовича именно дохой, – и я поддался

воспоминанию. Имел же я в виду вообще богатое зимнее платье. Как сказано в Ваших воспоминаниях, “шуба была, что называется, богатая...”

Прилагаю постскрипту, в котором нет ничего спешного, – когда-нибудь, может быть, прочтете».

Вот некоторые места из этого постскриптума.

«Хотя мне и было двадцать три года, но внутренний мой возраст составлял тогда лет семнадцать, так я и держался. Иначе как мальчика, слегка помешанного на Байроне и Китсе, Евгений Львович меня и не воспринимал. Слова его по поводу стихов либретто “Тени” я помню совершенно четко. Он сказал их легко, между прочим, с прелестной юмористической интонацией, и в комнате мы были одни, и никакого серьезного явления я не представлял собой – а так, мальчик очень увлеченный и подающий некоторые надежды.

С покупкой машинки дело было так. В Пассаже появился один-единственный экземпляр “Оптимы” – большая новость. К машинке уже приторговывался некий полковник, и мне в самом деле было дано сорок минут на принос денег. Я звонил Бианки, Якобсон, Власову – деньги можно было получить завтра, послезавтра, через два часа, но не тотчас. Оставалась последняя возможность – Катерина Ивановна. Она сказала мне по телефону: “Евгений Львович уехал за деньгами в банк, должен скоро вернуться. Приезжайте на всякий случай, может быть, успеете”. Я взял такси. Шофер бранился, потому что перед нами всё время шла какая-то “победа” и задерживала нас. Как потом выяснилось, в “победе” ехал Евгений Львович. Далее произошла описанная мною сцена. И молчаливая выдача денег, и фраза о “пропое” – всё точно.

При Вас Евгений Львович мог бы и не сказать какой-нибудь фразы. Или сказал бы ее другому. Еще при ком-нибудь сказал бы еще иначе. Конечно, не потому, что изменил бы себе или Вам. Разные люди обращаются к разным граням одного и того же человека. Комбинация этих граней бывает неуловимой.

Мне кажется, это одна из причин, почему написанное мною Вы сочли неправдой.

Должен сказать, что к воспоминаниям вообще я отношусь как к необходимому злу. Терпеть не могу, когда вспоминают, не имея что вспомнить, когда лезут в племянники к умершему, когда длинно пишут о пустяках, когда сводят счеты и кокетничают. Бывает и хуже: не зависящие от вспоминающего обстоятельства не позволяют коснуться ни одной из действительных радостей и бед ушедшего человека. И вот мы читаем о долгих часах общения, смутно подозревая, что на эти долгие часы оба собеседника были поражены глухонемой: никаких следов настоящего разговора».

В следующем письме Алексей Иванович сменил гнев на милость:

«Должен сказать, что этот постскрипту показался мне интереснее, живее, значительнее тех, специально написанных воспоминаний о Шварце, которые Вы прислали мне прежде. Всему веришь – и рублевым фурункулам мадам К., и тому, как Евгений Львович и Миней Ильич лечились водкой, и двум хорошим русским фамилиям... Если к этим черточкам веселого Шварца прибавить вспышку гнева, вызванного неуважительным отношением к Чехову – получится если не готовый портрет, то очень четкий эскиз к портрету...»

Воспоминания Евгения Львовича Шварца («Телефонная книга») были изданы спустя много лет. В них я прочел несколько строк о моей матери (она как дежурный районный врач бывала у Шварца) и о себе. Получил весть из дальнего, дальнего края.

ШОСТАКОВИЧ

На открытке – почерк великого композитора, общепризнанного гения. Что же он пишет никому не известному студенту?

«Многоуважаемый

Игнатий Михайлович!

Ваши переводы я получил. Отвечаю с большим опозданием, т.к. долго не был в Москве. Переводы очень хороши. Если будет время и возможность, обязательно ими воспользуюсь.

С лучшими пожеланиями

Д.Шостакович».

Получив эту открытку, я вспомнил эпизод из жизни Ромен Роллана. В молодости он испытал полное разочарование в себе и в своих силах. И вот, придя домой в расположении духа, близком к самоубийству, он нашел письмо – от Льва Толстого. Роллан еще раньше послал Толстому отчаянную исповедь и забыл об этом, настолько не надеялся получить ответ. Но получил – длинное, исповедальное, участливое, ободряющее письмо.

Лев Толстой отвечал на все письма, ответил и неизвестному французскому студенту. Роллан воспрял духом, и дела его пошли на поправку.

ВАЛЬТЕР СКОТТ О ФУТБОЛЕ

Был такой месяц декабрь, когда я выиграл множество пари. Встретив в какой-нибудь редакции доброго приятеля, забрасывал удочку:

– Спорим на бутылку коньяку, что я напечатаю перевод из Вальтер Скотта в газете «Футбол-хоккей»?

– Спорим, – заглывал наживку приятель. – Ни за что не напечатаешь.

Я доставал из портфеля газету, и приятель читал:

«Уважаемая редакция!

Готовя к переизданию сборник моих переводов английской и шотландской поэзии, я перечитывал стихи Вальтер Скотта и к своему удивлению наткнулся на стихотворение о футболе.

Я узнал, что сигналом к началу матча в Шотландии во времена Вальтер Скотта служил костер, зажженный на вершине горы. Что играли, разоблачившись. Что игра носила атлетический характер (упоминается падение на вереск). Что после игры утоляли жажду вином (надо понимать, легким и в небольшом количестве), причем пили в первую очередь за болельщиков.

Но главное – Вальтер Скотт (1771-1832) написал стихотворение на ту же тему, что советский поэт Василий Лебедев-Кумач. «Эй, вратарь, готовься к бою», – писал Лебедев-Кумач и сравнивал вратаря с часовым-пограничником. А Вальтер Скотт напоминал, что одно и то же знамя реет над полем игры и над полем боя.

Посылаю вам свой перевод этого стихотворения. Оно включено в книжку, которая выйдет в наступающем году. Название – «Дерево свободы», издательство “Детская литература”.

С уважением...»

Далее следовало стихотворение:

Вальтер Скотт

ПЕСНЯ

*по случаю водружения знамени
перед большим футбольным матчем
на Картерхоу*

С отдаленных холмов игроков собирая,
Загорелся костер на вершине горы,
И отважные горцы, как гончая стая,
Несутся по вереску к месту игры.

Поднимем же знамя! Оно над горами
Немало столетий летело, как дым.
Пусть реет со славой над нашей забавой,
Мы в битве кровавой его защитим.

Коль захватчики с юга грозили войною,
Это знамя смиряло разбойничий пыл.
Возле древка вставляли могучей стеною
Суровые воины, полные сил.

Пусть эхо войны никогда не проснется.
Но если нагрянет упрямый гордец,

То прежде, чем нашей святыни коснется,
Он тысячи встретит бесстрашных сердец.

Снимайте одежду и, счастью доверяясь,
Вперед! Ничего, если ливень пошел.
Есть беды страшней, чем паденье на вереск,
И жизнь, если вдуматься, тоже футбол.

А после забавы, охвачены жаждой,
Мы выпьем за тех, кто следил за игрой.
В обеих ватагах пусть славится каждый,
А храбрый игрок – настоящий герой.

Поднимем же знамя! Оно над горами
Немало столетий летело, как дым.
Пусть реет со славой над нашей забавой,
Мы в битве кровавой его защитим.

Приятель нехотя отправлялся в магазин за бутылкой, которая и распивалась в дружеской компании. Что делать – пари. Неожиданное и для одной из сторон беспроигрышное.

РАЗМЕРОМ БАЛЛАДЫ

Екатерина Васильевна Серова, автор многих книг для детей, искренне возмущалась тем, с каким трудом пробивали путь к читателю переводы баллад о Робин Гуде. И однажды прочитала мне стихи. Они написаны размером самих баллад, но Екатерина Васильевна усложнила задачу: зарифмовала не только четные, но и нечетные строки.

Воскрес из мертвых Робин Гуд,
И вдруг – какой сюрприз! –
Писательский избрал он труд
И вот попал в Детгиз.

Сто звонких песен и баллад
Он сдал секретарю:
– Смотри, какой бесценный клад
Детгизу я дарю! –

Потом к редактору попал
Прославленный герой.
Ему сказали: – Матерьял
Совсем еще сырой.

– Сырой? – обиделся стрелок. –
Да он лежал века!
– Ну что ж, еще хоть лет пяток
Пусть полежит пока. –

Натуру буйную смилив,
Уняв порывы гнева,
Спросил герой: – Где тут шериф?
– Пожалуйста, налево³.

С почтенъем двери отворив,
Вошел к шерифу Робин.

³ Налево от входа помещался кабинет директора издательства.

– Прошу простить, – сказал шериф, –
Мне вторник неудобен.

Прошу вас в пятницу, к пяти. –
А в пятницу ответ:
– Я в среду вас прошу зайти. –
Среда – шерифа нет⁴.

Поэтов шайку в полчаса
Скликает Робин Гуд
И в комаровские леса⁵
Они гурьбой бегут.

Вновь Робин весел и здоров,
Щадит простой народ
И лишь одних редакторов
Живыми не берет.

⁴ Обычная тактика директора.

⁵ Комарово – пригород Ленинграда, где находился Дом творчества писателей.